

Карл Кантор.

Путь к цивилизации — каков он?⁸

1

Социологию, если она выступала как действительная наука (а не наукообразная социологическая идеология) не жаловали даже на Западе.

Неприятие социальной системой науки о социальной системе не есть проявление только злой воли — оно «логично» для ее алогичной природы. «В России же, — по словам Питирима Сорокина — где «^приспосабливающаяся» социология всегда оценивалась с точки зрения колебания основ существующего строя... основными «научными» аргументами (против нее) были тюрьма, ссылка, каторга».⁹

Эти строки были написаны П. Сорокиным в марте 1920 года. Он тогда еще не подозревал, что помимо названных им «аргументов» советская власть изобретет еще один — насильственную высылку из России. Всего два года спустя талантливый ученый в составе группы известных философов, экономистов был вынужден покинуть Родину. Зато теперь, после «краха коммунизма» он вознагражден гипертрофированным признанием как «самая выдающаяся фигура на социологическом небосклоне нашего столетия»¹⁰.

Судьба Александра Зиновьева оказалась более печальной: оклеветанный и изгнанный из России в 1978 году как антикоммунист и антимарксист, он теперь третируется как «нераскаявшийся» коммунист и марксист, не принявший «перестройку» якобы из-за ее демократичности и гласности.

Перелистайте, однако, заново «Зияющие высоты», и вы без труда обнаружите в этом социологическом и социально-философском романе мысли, предвосхищающие лозунги «перестройки»:

«Ключ к решению всех наших проблем, — говорит Учитель, один из героев «З. В.» -это гласность, ее правовое обеспечение и, как следствие этого, начало нравственного совершенствования общества». Другой добавляет: «Не будет гласности, общество задохнется в конце концов в гигантской крысиной норе».

Но разве дело в лозунгах! В «Зияющих высотах» Зиновьев выставил на всемирное обозрение то, что никакой гласности неподвластно, то чего не сумели постичь ни П. Сорокин, ни все другие социологи, изучавшие советское общество: законы «реального коммунизма». Вне-романное изложение своих научных открытий Александр Зиновьев дал в социологическом трактате «Коммунизм как реальность», удостоенном, по представлению Раймона Арона, самой престижной социологической награды — премии Алексиса де Токвиля.

До уровня понимания социальной действительности, явленного в «З.В.»и в тридцати других книгах А. Зиновьева, последовавших за первым его романом, признанным художественным шедевром мирового значения, не поднялся еще ни один «перестроечный» критик советского общества.

Почему же сегодня автор «З. В.»оказался снова «неудобен»?

Причина та же: Зиновьев остался верен себе, своему безусловному неприятию любой идеологической ангажированности, подобно своему далекому предтече, истинному христиа-

⁸ Статья написана на основе вступительного слова к дискуссии «Советское общество и советский человек — точка зрения Александра Зиновьева». Вопросы философии, № 11, 1992.

⁹ Сорокин П. Л. «Система социологии», т. II. Петроград, 1920, с. 9.

¹⁰ Согомонов Л. Ю. «Судьбы и пророчества Питирима Сорокина» в книге: Питирим Сорокин «Человек, цивилизация, общество». М., 1992, с. 18.

нину Франсуа Рабле, который, порвав с католицизмом, не принял и кальвинизма — за что чуть было не угодил на разожженный реформатором костер.

Многие пребывали в состоянии «перестроечной» эйфории, когда Зиновьев опубликовал спую книгу «Горбачевизм» (написана в 1986 (!), издана в Швейцарии, Франции, Канаде, Голландии, Чили в 1987, впервые на русском языке — в Нью-Йорке в 1988 г.), к выводам которой мы приходим только теперь.

Я бы назвал книги, статьи, интервью Александра Зиновьева последних шести лет безупречной «социологической летописью» «перестройки» и развала Союза, если бы с научным постижением реальности он сочетал способность писать, «добру и злу внимая равнодушно».

Скорее всего, А. Зиновьев не был бы столь нетерпим, столь «инвективен», если бы те, кто претендует на роль «врачей» тяжело больного общества, не предлагали бы методы лечения, опасные для жизни.

Что же это за методы? Зиновьев выделил четыре основных и всем им дал оценку. Я назову их по-своему: конвергенция, дивергенция, нольвергенция и трансвергенция.

Первый, «сахаровский», провозглашает необходимость соединения «преимуществ» социалистической системы с «достоинствами» капиталистической. Далеко зашедшие попытки проведения подобного «курса лечения» привели бы, как полагает Зиновьев, к прямо противоположным результатам, а именно: к соединению «недостатков» социализма с «пороками» капитализма. Что-то в этом роде уже и теперь наблюдается. Второй, «солженицынский», провозгласил необходимость обособления России от Запада и даже от всех неславянских республик СССР, возрождение с минимальными коррективами порядков и образа жизни дореволюционной России, дезурбанизацию, применение доиндустриальной технологии в производстве и т. п. (К счастью, полагает Зиновьев, этот «курс лечения» принципиально не осуществим, ибо история назад не пятится.) Третий (я его назвал «нольвергенцией») рекомендует слегка отступить назад, к доперестроечной поре, и утвердить навсегда брежневское статус-кво, при котором, как известно, осуществлялось необходимое, но все-таки умеренное взаимодействие России и Запада, причем ни «социализм», ни «капитализм» не утрачивали своей специфики. (Для Зиновьева и этот «курс лечения» неприемлем. Это должно быть ясно хотя бы из сатирического изображения «брежневского царства» в «З. В.».) Четвертый метод — трансвергенция — выступает в двух разновидностях: сверхзападники (таких не мало) хотели бы ради «спасения» России полностью уподобить ее Западу; сверхсамобытники (и таких немало) не прочь были бы, напротив, Запад во всем уподобить России.

Все перечисленные «методы», за исключением одного, «нольвергенции» (впрочем, при ближайшем рассмотрении и он оказывается не исключением), сходятся на том, что безмерные бедствия нашего общества порождены его социальным строем — «коммунизмом». И, следовательно, вылечить советское общество можно, лишь избавив его от «коммунизма», удалив «коммунизм» как «раковую опухоль».

Зиновьев отвергает все эти оппозиции как идеологические. Он задолго до нынешних разоблачителей выступил с критикой советского общества и его идеологии, с критикой сталинизма и брежневизма, с критикой «коммунизма». Но его критика с самого начала была не идеологической. Она была более беспощадной, но не разрушительной, даже не диссидентской. Скорее она была антидиссидентской — не специально против диссидентов направленной, но и против них тоже, поскольку речь шла не о действительных подвижниках, а о ничем не рискующих, благополучных карьеристах официальной иерархии, одновременно претендующих на лавры воинствующих неконформистов.

Зиновьев не разоблачал, а анализировал, не осуждал, а понимал. В противовес всем идеологическим пострестроечным оппозициям он провозгласил свою, которую назвал «социаль-

ной», понимая под ней научно-социологический подход к разрешению «постперестроечных проблем».

Главное в научном подходе не одобрение или осуждение, не призыв к ниспровержению или защите, а познание реальности, понимание законов общества, объективных возможностей его изменений. В науке это трудно достижимая процедура — развести практические оценки «социальной материи» и ее незаинтересованное понимание. Однако именно эту задачу Зиновьев как раз и поставил перед собой. В своем «Манифесте социальной оппозиции» он заявил:

«Мы отвергаем всякий реформаторский авантюризм...

Мы видим свою задачу в том, чтобы разъяснить людям неразрывную связь достоинств и недостатков коммунизма, причем как такую связь, в которой недостатки суть закономерное следствие достоинств...

Мы не предлагаем никакой альтернативы коммунизму, считая любую альтернативу такого рода в наше время утопией или просто безответственной болтовней».

О каком «коммунизме», собственно, идет здесь речь? Ведь будто бы нее согласились, что у нас нет ни коммунизма, ни социализма, что как раз коммунизм -утопия в принципе неосуществимая, что попытка, несмотря ни на что, построить коммунизм в нашей стране как раз и привела к катастрофе. Как может Зиновьев говорить, что любая альтернатива коммунизму является утопией, тогда как сам коммунизм является таковой?! Как может автор «З.В.» «защищать» строй, если сам он этот строй «заклеймил»? Как можно отвергать альтернативы коммунизму, если они исходят не из утопических предписаний, а из соображений «здорового смысла», из стремления вернуть наше общество в мировую цивилизацию, откуда оно насильственно было исторгнуто в Октябре 1917 г.?

Что же такое, в конце концов, коммунизм и наука о коммунизме по Зиновьеву?

2

Под коммунизмом Зиновьев понимает не Марксов проект коммунизма, не миф о его воплощении в советское общество, а тот реальный общественный строй, который сложился в России, в Советском Союзе после Октябрьской революции.

Этот строй не имел ничего общего с марксовым проектом, кроме терминов и некоторых идеологем. Маркс изучал капитализм и построил теорию этой формации. Такого общественного строя, какой сложился у нас (формально по Марксу, а фактически вопреки Марксу), автор «Капитала» не видел, не знал, не изучал. А то, что у нас получило название «научного коммунизма», было не наукой (наука не может возникнуть прежде, чем возник предмет ее исследования), но важным ингредиентом нашей социальной системы в качестве идеологии. Науки о советском социальном строе не было.

Основы этой новой социологической дисциплины, существенно повлиявшей на общую социологию, на понимание универсальных социальных законов как раз и разработал Александр Зиновьев. В противоположность «научному коммунизму» он назвал ее наукой о коммунизме. Полученные результаты явились теоретическими предпосылками зиновьевского «Манифеста социальной оппозиции».

«Претензию» Зиновьева на научность можно, казалось бы, опспорить следующим образом: пусть «научный коммунизм» не наука. Но разве у нас нет действительной науки о советском обществе, помимо «науки Зиновьева»? Разве реформаторы из числа сторонников конвергенции и западного варианта трансвергенции не опираются на советскую экономическую науку, которая давно уже не марксистская? Разве не по рекомендации экономистов правительство осуществляет денационализацию, переход к частной собственности, к применению наемного труда, к отказу от планирования и господству рыночных отношений?

А политологи? А юристы? А социологи, наконец? Разве не они «вполне научно» обосновали необходимость установления парламентарного строя, многопартийности, допущения гласности, свободы печати, гарантий прав личности? Ориентация на науку, стремление все делать непременно «по науке» — не достоинство ли это политиков «перестройки», не их ли отличительная черта? Как же можно считать, их взгляды идеологическими, а не научными?

Возражение вроде бы обескураживающее. Оно взывает к ответу. А он прост, можно даже сказать — банален. Легко убедиться в том, что паши самые прославленные экономисты пришли к выводу о необходимости введения у нас рыночных отношений не в результате изучения советской действительности, а в результате заимствования выводов экономической науки совсем другого общества — капиталистического общества Запада. От политэкономического Маркса они отказались, потому что он «не про нас», но зато присвоили себе идеи светил современной западной экономики — Фридмана, Хайека, Тобина и некоторых других, помельче, которые, однако, тоже писали «не про нас».

Другая причина, почему рекомендации экономистов нельзя считать действительно научными, не менее серьезна. Узкие специалисты, они не очень ясно представляют себе, как экономика связана с целостностью социального организма. Так, академик Шаталин, сторонник рыночной экономики, на вопрос, почему он за нее, ответил: «Я врач, я ставлю диагноз, определяю, чем больно общество, и предлагаю меры лечения». Но на каком основании экономист утверждает, что болезнь экономики — это и есть болезнь общества? На том, что это универсальный закон? А он как раз не универсальный. Он верен для капиталистического общества и не верен для «коммунистического». Отвергли Маркса, а марксистские «уши» торчат из-под шапки Милтона Фридмана.

Одна из научных заслуг Зиновьева состоит в том, что он жестче, чем Маркс, открывший азиатский способ производства, ограничил действие основного закона истмата Западной Европой. Только западнокапиталистическое общество является «экономическим», только в нем все дела общества «упираются» в экономику, только для него существенна экономическая эффективность.

Ленин фактически восстанавливал поколебленные реформами 1861—1911 гг. многовековые социокультурные устои Российской империи, когда сразу же после Октября сделал возрожденное государство единой властью экономики и культуры.

Не экономическая, а социальная эффективность определяла вплоть до «перестройки» жизнестойкость советского общества.

Чем же в таком случае явилась «рыночная теория» советских экономистов, если она не наука? Составной частью «перестроечной» и особенно, «постперестроечной» идеологии, подобно тому, как «научный коммунизм» был ядром идеологии «доперестроечной».

3

Коммунистическое общество марковского проекта • — бесклассовое, а тот «коммунизм», который стал реальностью советского общества, состоял из весьма своеобразных классов, но не рабочих и крестьян, как утверждала официальная пропаганда. На самом деле произошло не только «раскрестьянивание» (особенно заметное в связи с глубокой урбанизацией), но и «разрабочивание» — сохранилось лишь профессиональное своеобразие промышленного и земледельческого труда. А вместо рабочих и крестьян возникло подобие новых классов — управляющие и управляемые. Те социальные группы, которые осуществляли функцию управления (па общесоюзном, республиканском или местном уровне), получили право распоряжаться, соответственно, либо всей государственно-общественной собственностью, либо той ее частью, которая отводилась в ведение республики, района, села, учреждения, фабрики, института и

т. д. А распоряжаясь орудиями и средствами производства, землей, жилищным фондом, управляющие всех уровней получали право присваивать себе львиную долю общественного продукта.

Люди получали зарплату (материальное вознаграждение) не за труд (как предполагал Маркс), а в соответствии с тем местом, какое они занимали в социальной структуре своего непосредственного коллектива, и с тем, какое место занимал их непосредственный коллектив в иерархии коллективов, и, наконец, с тем, какое место эти последние занимали в целостности общества-государства. Материальное обеспечение тут не зависело от количества и качества труда индивида: оно могло быть близким к нулю — и иногда это даже необходимо было, чтобы было близко к нулю, ибо безработица исключалась. Таким образом, был даже осуществлен, как полагает Зиновьев, принцип высшей фазы коммунизма — «от каждого по способностям, каждому по потребностям» — ибо как способности, так и потребности индивида во всеохватной социальной системе были полностью определены, обусловлены и сформированы.

Существенно и другое. Управляющие распоряжались не только орудиями и средствами производства, но и массами управляемых. От их решения зависела судьба управляемых, их положение в коллективах и, соответственно, доля общественного продукта, которую они получали. Управляющие низших уровней вместе со своими коллективами выступали в качестве управляемых в коллективах среднего уровня, те, в свою очередь, в качестве управляемых в общесоюзном государственно-партийно-общественном коллективе. Управляющий низшего уровня не столько зависел от коллектива, которым он управлял, сколько от управляющего среднего уровня, а тот, в свою очередь, — от высших управляющих. Только в условиях государственно-общенародной собственности управляющие и управляемые могли образовать нечто подобное старым классам, с особым классовым сознанием своих особых социальных, политических и экономических интересов. Высший эшелон управляющих (Политбюро ЦК КПСС и Совет Министров, их аппараты, короче говоря, те, кого называли «номенклатура», или «партократия») был безраздельным «хозяином» страны и народа.

Однако только управляемых было не так уж много. Даже на самых низах, в микроколлективах непременно выделялись свои управляющие — звеньевые, вожатые, старосты, группорги, бригадиры, их помощники, замы, актив и т. д. и т. п. Функция управления была как бы разлита по всему обществу и проникала до самых низов. Все, или почти все, одновременно играли две роли: управляющих (по отношению к нижестоящим) и управляемых по отношению к вышестоящим. Таким образом, все, или почти все, воспроизводили в своем положении колеблющийся статус «средних» слоев, становились «воплощенным противоречием», как прежде мелкая буржуазия. Этот средний слой, или средний «класс», был самым многочисленным. И поскольку он был многоступенчатым, пропасть между самыми верхами и самыми низами скрадывалась. Почти у всех граждан, к какой бы ступени среднего «класса» они ни принадлежали, были общие интересы как с управляющими, так и с управляемыми. Благодаря этому достигался всепроникающий консенсус верхов и низов, «единство партии и народа, морально-политическое единство, дружба народов». Тут не было угнетающих и угнетаемых, и вместе с тем они были; тут не было классов господствующих и подчиненных, и вместе с тем они были; тут не было национального неравенства, и вместе с тем оно было. Тут классовую борьбу заменила борьба общества (на всех его уровнях) с индивидами (всех уровней), «не вписывающимися» в коллективистскую управляюще-управляемую структуру, отклоняющимися в своем поведении, умонастроении от стихийно сложившихся и затем сознательно (идеологией, репрессиями) закрепленных норм и правил нового социума. Но «ненормальные» индивиды не могли образовать особого класса, они были рассредоточены во всех социальных слоях, и вообще не склонны объединяться между собой. Из этого, однако, не следует, что не было противоречий между низами и верхами, между партократией и остальным народом. Они существова-

ли, однако не могли служить основой для превращения низов из «класса в себе» в «класс для себя». Низы, состоящие только из управляемых, были малочисленны, раздробленны. Им противостояла не одна лишь «номенклатура» («партократия»), но и те непосредственно с ними соприкасающиеся низы, которые, будучи управляемыми, одновременно осуществляли функцию управления, пусть даже в самых незначительных пределах. Социальные противоречия в «коммунистическом» обществе были завуалированы (как ни в каком другом) не вполне классовым (с экономической точки зрения) характером новых классов и амбивалентностью классовых позиций и классовых интересов.

Как бы ни были велики привилегии «номенклатуры», она не становилась коллективным частным собственником орудий и средств производства. Она была временным владельцем большого объема властных функций, дававших ей право на присвоение, львиной доли совокупного общественного продукта, в результате чего индивидуальная (но не частная!) собственность каждого входящего в номенклатуру многократно превосходила — по количеству и качеству — индивидуальную собственность в нее не входящих, особенно низов, которые, однако, это неравенство не воспринимали как несправедливость.

Крестьяне, служащие и рабочие в массе своей предпочитали стабильность, гарантированность социального статуса неопределенности, зыбкости положения в условиях господства частной собственности. Созданное в результате революции «коммунистическое» общество отвечало их стремлениям. При всех его вопиющих пороках, полный реестр которых представлен в сочинениях А. Зиновьева, это общество обладало и целым рядом достоинств, не присущих российскому дореволюционному и современному капиталистическому.

4

Существуют два фундаментальных условия духовной свободы индивида, на которые указал еще Иисус Христос. Первое — отказ от частной собственности. Второе — отказ от труда. Частная собственность, с одной стороны, предполагает самостоятельность, инициативу, свободный выбор ее хозяина (хотя и он не так уж велик, как изображают современные апологеты капитализации России), а с другой, она подчиняет себе хозяина, поглощает все его жизненные силы, все мысли и чувства, вселяет беспокойство и тревогу за ее сохранение и увеличение, отнимает досуг, делает человека рабом коммерции.

Вся великая литература Запада, где возникла и утвердилась частная собственность, начиная с античной и до наших дней, осуждает коммерциализацию человеческих отношений. Частная собственность отделяет человека от человека, порождает зависть, корысть, жадность, самодурство, ведет к экзотизации преступлений, к оправданию нарушений всех десяти божественных заповедей. Частный собственник, особенно мелкий, есть раб своего «дела», а не только его господин. Мелкий частный собственник, мелкий хозяйчик всегда был оплотом реакционных деспотических, бонапартистских и фашистских режимов, оплотом империй, национализма, шовинизма, расизма.

Государственная общественная собственность советского «коммунистического» строя избавила людей от этой массовой, но неявной формы порабощения, заменив ее другой, и теперь уже явной формой зависимости индивида от коллектива, от общества, от руководителей всех уровней, или, точнее, не от них самих, а от их постов, воплощающих в себе волю всех коллективов, больших и малых, связанных сложными отношениями субординации и координации.

Освободив население от частной собственности, «коммунизм» освободил значительную его часть от интенсивного труда как неперемennого условия получения жизненных благ. А труд не только как подневольная рабская деятельность — на которую были обречены миллионы —

но как «добровольно» выбираемый необходимый источник существования, является порабощением духа. Если духовное творчество, духовное общение за пределами материального производства есть содержание, форма и самоцель проявления свободы, то, напротив, любая вовлеченность в материальный трудовой процесс, продиктованная любыми мотивами: сохранением жалкого существования (как у раба), божественного (как у протестанта) или патриотического (как у тружеников тыла ВОВ) долга, или стремлением к более высокому заработку (как на Западе) или, наконец, даже потребностью «убить время», «забыться», отгородить себя от бездны небытия (этот мотив труда Л. Толстой приравнял к пьянству) — короче, любая материально-трудовая деятельность, определяемая внешней целью, противоположна свободе. Даже если на какой-то срок для ограниченной части общества она становится, как это было у нас, «делом чести, славы, доблести и геройства».

Поэтому возможность трудиться не интенсивно, не на износ при низкой, но гарантированной заработной плате стала в условиях «коммунизма» привлекательной для значительной части населения. И, видимо, поэтому люди никогда не достигали такой саморастворенности в идеале братства, как в лучшие годы советской власти, когда заботы о личном материальном благополучии считались постыдными.

Андре Жид в своей книге, которая долго считалась пасквилем на сталинский Советский Союз, вспоминал: «Сколько я видел людей, чья одухотворенность лишь подчеркивалась бедностью. Чуть ли не каждого мне хотелось прижать к сердцу! Нигде отношения с людьми не завязываются с такой легкостью, непринужденностью, глубиной и искренностью, как в СССР... Да, я не думаю, что где-нибудь, кроме СССР, можно испытать чувство человеческой общности такой глубины и силы».

Внедрение идеи капитализации России (не столь популярной, как это изображают сторонники частной собственности и «не регулируемого» рынка) есть результат того, что «номенклатура» встала на путь использования функций управления государственно-общественной собственностью для превращения последней в свою частную собственность.

Опасность такого превращения таилась в самой централизованной и иерархической структуре «коммунистического» общества. Эта опасность из потенциальной стала реальной, как только произошло сращение части партаппарата с теневой экономикой.

Кризисы переживают все общественные системы. Кризисы капиталистической в соответствии с ее природой — экономические кризисы перепроизводства; кризисы «коммунистической» в соответствии с ее природой — социальные кризисы «перепроизводства» управляющих на всех уровнях, в силу чего управление разлаживается, нарушается координация и субординация управляющих структур, ослабевает обратная связь в системе «управляющие-управляемые», деятельность управления все более становится самодовлеющей, паразитарной.

Последние годы правления Брежнева, и особенно годы «перестройки», • — это, как утверждает А. Зиновьев, первый кризис «коммунистической» формации.

Зиновьев считает «коммунизм» всемирной формацией, а не временным и случайным состоянием общества какой-то отдельной страны (России, Китая и т. д.). Эта формация, подобно капиталистической, выступает с неизбежностью в различных конкретных воплощениях, изучением которых сам Зиновьев не слишком озабочен. Маркс создал модель капитализма, отвлекаясь от особенностей его проявления в различных странах, но взял за образец определенную страну — Англию, в которой общие закономерности капиталистической формации выступали в наиболее чистом виде. Точно так же поступает и Зиновьев. В качестве образца «коммунистической» формации он берет Советский Союз, или даже только Советскую Россию, не считая, одна-

ко, что «коммунизм» присущ только России, что только в России есть для него предпосылки. Маркс говорил о том коммунизме, материнским лоном которого является капитализм, и только капитализм, причем лишь на высокой стадии его развития. Зиновьев же имеет дело с тем «коммунизмом», который вырастает не из капитализма, а из «коммунальных отношений», имеющих место как в капиталистических, так и не в капиталистических странах. «Коммунальные отношения» присутствуют в фундаменте любого социума; это, собственно, первичная форма социальных отношений, над которой надстраиваются и в которую внедряются позже другие формы социальных отношений, прежде всего экономическая. Первые являются предпосылками «коммунизма», вторые — капитализма. Если иметь в виду эти предпосылки, то следует признать, что «коммунизм» более древен, чем капитализм, и более укоренен в человеческом способе существования. На основе экономических отношений раньше, чем капитализм, складывается индивидуалистическая культура цивилизации — это необходимое условие возникновения и существования капитализма. Капитализм действует по отношению к цивилизации амбивалентно, одновременно и отрицая, и утверждая ее. Он не тождествен цивилизации. Если же общества, усложняясь, внутренне дифференцируясь, организуясь в государства, вырастают непосредственно из «коммунальных отношений», как бы минуя экономические, они порождают в ходе своего становления социальную систему, противоположную цивилизации — «коммунизм».

«Коммунальные отношения» есть фундаментальные отношения социальности. Законы же, которые определяют поведение социальных индивидов (в качестве которых выступают как отдельные лица, так и группы), естественны. Цивилизация, напротив, есть явление искусственное. Усилиями миллионов на протяжении столетий были созданы средства, ограничивающие действия социальности, социальных законов. Этими средствами стали гуманистические ценности мировых религий (прежде всего христианства), морали, права, искусства как самозаконной духовной деятельности, общественного мнения. Цивилизация, говорит Зиновьев, есть движение «против течения» естественного хода истории, тогда как «коммунизм» есть движение «по течению». «Коммунальные отношения» (или иначе, социальность как таковая), из которых вырастает «коммунизм», есть стихийно сложившаяся структура, которая охраняет общество как целое от произвола индивидов или группы индивидов по отношению к другим индивидам или группам индивидов постольку, и лишь постольку, поскольку этот произвол наносит ущерб целостности общества. Соответственно дело обстоит и в «коммунистическом» обществе, где «коммунальные отношения» становятся доминирующими. Цивилизация — это система ценностей и культивирующих их институтов, которая охраняет индивида от социальных законов, точнее, от ядра социальности — «коммунальных отношений» и позволяет тем, у кого есть для этого природные задатки, достичь свободного самоосуществления, даже если последнее вступает в противоречие с интересами общества как целого (по крайней мере в определенный момент его существования). При поверхностном взгляде кажется, что условия для свободного самоосуществления индивида предоставляет капитализм. На самом же деле это дает цивилизация, в рамках которой действует капитализм.

Социальные законы вечны и неизменны; в каждом обществе, древнем и современном, западном и восточном, они одни и те же. Они появляются на свет вместе с обществом в виде правил и сведений, которым люди обучаются легко и поголовно, стремясь к самосохранению и улучшению условий своего существования. Зиновьев в качестве примера называет такие правила: меньше дать и больше взять; меньше риска и больше выгоды; меньше ответственности и больше почета; меньше зависимости от других и больше зависимости других от тебя. Социальные законы сохраняют свое действие на протяжении всей истории, но сами они не историчны и в своем происхождении не зависят ни от государства, ни от религии, морали и права. Напротив, государство, религия, право, мораль зависят от социальных законов -используют их и (или) противостоят им, ограничивая их действие.

Социальные законы не суть законы рабовладельческого общества, или капитализма, или коммунизма, ибо последние преходящи, а первые нет, хотя законы именно коммунизма почти тождественны социальным законам.

Социальные законы не добры и не злы, не обладают ни достоинствами ни недостатками. Из всех общественных законов, социальные — самые примитивные, ничтожные и отвратительные, самые массовидные в своих проявлениях, почти самоочевидные. «Хотя законы коммунальное™ естественны, — пишет Зиновьев, — люди предпочитают о них помалкивать и даже скрывают их. Прогресс человечества в значительной мере происходил как процесс изобретения средств, ограничивающих и регулирующих действие этих законов, — морали, права, религии, прессы, гласности, общественного мнения, идей гуманизма и т. д. Людей веками приучали облекать свое поведение в формы, приемлемые с точки зрения этих ограничителей... И неудивительно, что коммунальные правила поведения представляются им как нечто неприличное, а порой даже как преступное... Когда все же говорят о тех или иных законах коммунальное™, то их лишают статуса общечеловеческих и приписывают лишь какому-то скверному типу общества (марксисты — капиталистическому, конечно). Считают, что в другом благородном типе общества (в коммунизме, конечно) им места нет. Но это ошибочно. В законах коммунальности ничего бесчеловечного нет. Они ничуть не бесчеловечнее, чем законы дружества, взаимопомощи, уважения. Последние вполне уживаются с первыми и вполне объяснимы как нечто производное от них. А человеческий или бесчеловечный тип общества сложится в той или иной стране, зависит не от самих этих законов как таковых, а от способности населения развить институты, противостоящие этим законам и ограничивающие их».

С точки зрения Зиновьева, «социальный прогресс» есть движение к антисоциальности, к блокированию отношений, сковывающих свободу индивида.

Возникает вопрос: как «коммунистическое» общество может приобщиться к цивилизации? Нужно ли для этого ломать все структуры, выросшие из «коммунальных отношений»? Или, сохраняя их (но, разумеется, и совершенствуя), встать на путь (трудный и длительный) накопления созданных индивидами универсальных, всемирных по своему значению продуктов материальной и духовной культуры, совокупность которых и будет представлять собой цивилизацию? Радикальные реформаторы предлагают первый путь. Зиновьев — второй. Первый — это путь капитализации, а не цивилизации. Тут все дело сводится к разрушению фактически всеобщих, не только «коммунизму» присущих, устоев общественной жизни, к приспособлению к существующим на Западе экономическим и политическим образцам, к заимствованию идеологии «массовой культуры», паразитирующей па плодах цивилизации. Капитализм «безбожно» отождествляется с цивилизацией, между тем как цивилизация ограничивает не только действие естественных законов «коммунальных отношений», но также — и в этом будет состоять существенное дополнение к сказанному — и экономических отношений, и капитализма, который также является силой стихийной. Только второй путь, который предлагает Зиновьев, есть путь действительного приобщения к цивилизации и даже, точнее, не «приобщения», а самостоятельной ее выработки, путь настоящего творчества.

Социология, начиная с О. Конта, ее основателя, претендует на строгую научность, опирающуюся на конкретные исследования, на эксперимент. Она отвергает спекуляции социальной философии и разрушительный пафос социальной критики. Социология хочет быть конструктивной, полезной обществу именно как наука. Однако общество не склонно поощрять социологию. Оно вполне обходится без нее, без ее практических рекомендаций и прогнозов и делает лишь вид, будто заинтересовано в результатах опросов общественного мнения.

Впрочем, социологии, выделившись из социальной философии, сама оказалась излишне самонадеянной. Она не стала такой же несомненной наукой, как естествознание, превратившись фактически в наукообразную разновидность идеологии и утратив при этом смелость

суждений об обществе, присущую древним и новым философам, социальным критикам и утопистам.

Научный вклад в социологию Маркса и Энгельса, освобожденный от его абсолютизирующей профанации, Зиновьев ценит высоко, полагая, однако, что социологию, как независимую от политэкономии науку, они так и не создали.

Некий новый прорыв в науку наметился, когда Г. Зиммель поставил задачу обнаружить в общественной жизни социальность как таковую, лежащую глубже экономики. Однако собственные попытки немецкого социолога разрешить эту задачу свелись лишь к указанию на всеобщие формы социальных отношений — господство и подчинение, сотрудничество и конкуренция и т. д. Тем не менее Г. Зиммель был на верном пути. Успешно двигался в этом же направлении и П. Парето. Он утверждал, что фундамент социальности иррационален. Разделив все человеческие действия на логические и нелогические, Парето настаивал на том, что социология должна иметь дело с действиями нелогическими. Социологию он определил как логико-экспериментальное исследование нелогических, иррациональных отношений между индивидами и группами индивидов. Более близкое определение этих отношений В. Парето все же не дал.

В отличие от В. Парето, Макс Вебер, кумир современных социологов, программно отверг наличие в обществе социальных законов, подобных законам естествознания. Если таковые устанавливаются, они оказываются слишком общими, абстрактными (как будто это не отличительная черта любого закона); все реальное богатство индивидуально неповторимой общественной жизни остается за пределами действия этих законов, и потому они бессмысленны. Преимущественный интерес людей состоит в понимании хотя бы некоего фрагмента индивидуального (поскольку бесконечность связей и отношений, из которых оно складывается, непостижима). По этой причине М. Вебер определил социологию как исследование лишь тех социальных действий людей, которые обусловлены их сознательной волей.

Собственно, Макс Вебер остался социальным философом и культурологом более высокого уровня, чем его предшественники, но социологии как науки о тех базисных естественных, в каждой культуре присутствующих, как ее каркас, отношениях, не обусловленных сознательной волей людей, он не создал.

Важность социальной философии (и учения о культуре, почти полностью с ней совпадающего) велика для понимания всей полноты общественной жизни, ее духовного содержания, личностной судьбы индивида, т. е. всего того, что не подвластно научному познанию. Но может ли это понимание быть достоверным без знания социальных законов, которые призвана установить социология?!

То, что произошло с социологией на Западе и у нас, то сведение всей полноты общественной жизни либо к «принципу свободы», либо к «принципу необходимости», привело к смешению понятий социологии и социальной философии и до крайности затруднило понимание специфики советского («коммунистического», по терминологии Зиновьева) и западного «капиталистического» общества. И там, и тут идеология подменила науку.

Самое прискорбное в происходящем — распространившееся в обществе «социологическое» убеждение, что, сменив одну социальную систему на другую, люди станут свободными личностями, тогда как свобода пребывает в другом измерении и противостоит любым модификациям социальности.

Если некогда социология стремилась обособиться от социальной философии, чтобы стать наукой, то сегодня социологии, преследующей эту цель, предстоит обособиться также и от той социологии, которая фактически является «социологической идеологией».

Это обособление наряду с критикой «социологической идеологии» в ее марксистских и немарксистских разновидностях предполагает четкое выделение из всего многообразия отно-

шений общественных социальных отношений как таковых, фиксацию законов этих отношений, собственно социальных законов, сферу действия которых следовало бы назвать «социумом», в отличие от «общества», объемлющего все формы человеческой жизнедеятельности, как необходимые (социальные и культурные, ассимилированные социальностью), так и свободные (порождающие культурные ценности, но не сводимые к ним).

Я считаю, что всесторонне и последовательно это обособление как раз и осуществил Александр Зиновьев.

Последующее развитие социальных знаний, возможно, обнаружит и в его научных построениях следы идеологии (полностью от них избавиться никому не дано), и уж наверняка его научные открытия будут «присвоены» какой-то новой, «социологической идеологией» — это неизбежный процесс экспансии социума, это способ его самозащиты от того, что ему противостоит — но и тогда сделанное А. Зиновьевым сохранит свою научную ценность. Не он первый. Идеологизация научного содержания первомарксизма и последующее «ниспровержение» полученного «результата» не смогло поколебать в учении Маркса того, что является достоянием науки. Да и то идеологическое, что заключено в нем (именно в нем, а не в последующих «марксизмах»), не утратило своей жизненной силы.

Разрабатывая свою социологическую теорию в противовес господствующей, Зиновьев вынужден был показать, что научность господствующей — мнимая. И если он использовал сатирические приемы изображения «социологической идеологии» через изображение ее верных «оруженосцев», то лишь потому, что они сами были наиболее яркими проявлениями действия социальных законов. Они делали вид, что познают эти законы (а иные даже верили в это), тогда как на самом деле были медиумами поработавшей человека социальности.

Зиновьев назвал свои художественные произведения «социологическими романами», поскольку сумел органически соединить в своих книгах искусство и науку, нисколько не поступившись ни образностью, ни строго логическим изложением системы категорий своей социологической теории. Все же не следует полностью доверять самооценке автора «Зияющих высот». Зиновьев был бы более прав, если бы назвал свои романы не только «социологическими», но и «социально-философскими» и «религиозными», ибо, устанавливая, как социолог, враждебность социальности как таковой, социума свободе человеческой личности, он, как социальный философ, обеспокоен судьбой индивида, поисками в обществе того, что способно спасти и спасает человека от стихии социальности, и, наконец, как основатель нового вероучения, являет собой образец человека, который в условиях тоталитарного строя добился права сказать о себе: «Я — суверенное государство», и формулирует трудные для исполнения заповеди самодостаточного бытия индивида.

Выяснив с достоверностью, не вызывающей сомнений, что социальная система как таковая и «коммунистическая», как сгущенная до предела социальность, враждебна человеку, поскольку он стремится к самоосуществлению, Александр Зиновьев приходит к поразительному открытию, подтвержденному его жизненным опытом, как и опытом многих других выдающихся и «обыкновенных» людей: одна из основных тенденций коммунистического образа жизни — «завоевать возможность в той или иной мере жить свободно от коммунистического образа жизни» («Светлое будущее»).

Об этом завоевании рассказывает каждая его книга. Именно эта по преимуществу внутренняя духовная борьба каждого, а не перемены внешние — социальной системы — есть трагически прекрасный путь к цивилизации.